

Милан Шимечка

МОЙ ТОВАРИЩ УИНСТОН СМИТ

(окончание) *

VII. ПОЛИЦИЯ МЫСЛИ

Орвелл сделал много удачных находок, и слово “Thought-police” принадлежит к наиболее удачным. На современный язык Чехословакии, где идеи роятся как пчелы, мы перевели его как „идеополиция”.** Это очень хорошее название для организации, оснащенной современным техническим оборудованием для слежки, обличения и пресечения еретических мыслей (т. е. любой мысли, чем-либо отличающейся от государством установленных норм, стремящейся, хотя бы робко, к независимости и неортодоксальности). Полиция Мысли правильно предполагает, что всякая мысль, выходящая за рамки нормы, рано или поздно обернется против монополии партии на идеи Ангсоца или любого другого учения.

Полиция Мысли Орвелла и сегодня остается самой широко распространенной и совершенной формой контроля за идеями. По своему совершенству, как нечто вроде коллективного ума, она, конечно, несколько утопична. Но мы знаем, что утопии имеют тенденцию стать действительностью именно в самых худших случаях. Поэтому сейчас уже многие полиции, в том числе та, которую я довольно хорошо знаю, усердно стараются приблизиться к своему утопическому образцу. Чтобы достичь этого не нужно даже изучать Орвелла. Совершенствование является автоматическим следствием количественного разбуха-

* Начало см. „Проблемы Восточной Европы” № 25—26, стр. 186—226.

** При переводе с чешского использовалось русское издание, напечатанное в Италии (ROMA) — поэтому далее „Полиция Мысли” — Ред.

ния — штатов, материальной базы, техники и финансов. В настоящее время нет почти ничего невозможного. Как уже было кем-то сказано, это лишь вопрос средств. Любую утопию можно сделать действительностью, если выделить достаточно средств на ее реализацию. Утопическая идея ликвидации всего живого на планете уже не утопична. Так что при наличии достаточных материальных средств и инструменты контроля за мышлением в скором времени усовершенствуются до орвелловского уровня. Возможно, и в наше время существуют Полиции Мысли, превосшедшие в некоторых отношениях Полицию Мысли Океании, только пока об этом не говорят вслух.

Правда, Полиция Мысли Орвелла не пользуется какими-то нзумляющими техническими средствами. Вертолеты, подглядывающие в окна квартир, не представляют собой ничего особенного. Вездесущие скрытые подслушивающие устройства это уже сейчас хлеб насущный современных идеоидеек. Микрофоны еще не установлены повсюду в лесах и горах, но это опять-таки зависит лишь от наличия средств. Если нужно будет, подслушивающее устройство будет установлено и на той лужайке, где пряталась Уинстон с Юлией. Я уверен, что скоро будут работать и телескринны, способные снимать происходящее в комнате, где живет какая-нибудь напуганная семья. Так у одуревших граждан разовьют и усовершенствуют непоколебимое убеждение, что ничего сделать нельзя, что Полиция Мысли все знает, даже то, что человек шепчет в каком-нибудь кошмарном сне.

Если рассуждать так, то придется признать, что не очень отдаленные предшественники Полиции Мысли работают сегодня и работали уже много лет назад... Но дело не в техническом новаторстве. Главным усовершенствованием, характерным для орвелловской Полиции Мысли, является ее слияние с правящей элитой. Орвелл сделал ее остоном общества. Вездесущая Полиция Мысли сливается с внутренней партией, составляя вместе с ней стержень власти. Эта операция прошла в Океании чрезвычайно успешно, она лучше всего иллюстрирует уродливость государства, в котором осуществился подобный симбиоз. Тоталитарное государство — это несколько десятков людей, имеющих возможность принимать политические решения, а дальше — лишь Полиция Мысли как единственный исполнитель и носитель власти.

В Океании уже достигли такого совершенства. Внутренняя Партия и Полиция Мысли — это единственно важные вещи, говорит Уинстон. К такому устройству стремится автоматически каждая тоталитарная власть, и если история предоставит ей достаточно времени, она достигнет своего идеала. В таком симбиозе уже неважно, управляет ли политическая верхушка Полицией Мысли или Полиция Мысли — верхушкой. Для абсолютного большинства подвластных это безразлично. В истории Восточной Европы существовали оба типа такого симбиоза. В настоящее время это слияние так сильно, что очень трудно отличить, кто в данный момент занимает первое место. Интересы Внутренней Партии и Полиции Мысли настолько отождествились, что между ними не возникает внутренних трений, как когда-то в Советском Союзе, когда расстреливали руководителей Полиции Мысли...

Так вот, между Полицией Мысли, как единственно важной вещью, и идеополцией современных тоталитарных государств большой разницы нет. Вероятно, имеется разница в методах, но это каждый раз зависит от временных этапов. Сейчас методы наказания преступников мысли мягче; их не заставляют признаваться с помощью совершенных машин, вызывающих боль, их уже не убивают выстрелом в затылок, хотя такое смягчение произошло отнюдь не во всем мире. Поньше происходит такое, чего не придумали бы даже в комнате № 101. Если мы делаем утешительные выводы, сравнивая некоторые эпизоды из книги Орвелла с современной действительностью, удовлетворение несколько притупляется сознанием, что смягчение методов является следствием внутренней договоренности между Полицией Мысли и политическими элитами и что эта договоренность может быть в любой момент изменена. Прагматическая этика тоталитарных систем совершенно не изменилась, и в случае возрастания угрозы они снова могут прибегнуть к старым методам. Впрочем, эти методы хорошо известны давно, Орвелл не придумал их, он просто выписал их из перечня насилий, о которых он ежедневно читал в газетах 30-х и 40-х годов. Однако я должен признать, что когда я сам попал в руки Полиции Мысли, я был очень рад, что живу в эпоху некоторого смягчения ее методов и мне не приходится ждать с дрожью в утробе, когда меня отведут в комнату № 101.

Из всех прочтенных мною книг о тайной полиции, о шпионских агентствах и террористических организациях, я вынес впечатление, что их авторы многое преувеличивают. В таких книгах секретные службы управляются совершенным спекулятивным мозгом, дьяволоподобными психологами и холодно рассчетливыми математиками. Орвелл тоже интеллектуализирует свою Полицию Мысли, чтобы показать ее всеисиле. Эта тенденция проявляется, в первую очередь, в образе О'Брайена, который каждый раз, когда он обращает к Уинстону „свое безобразное, но интеллигентное лицо, напоминает ему учителя или доктора или даже священника, думающего не столько о том, чтобы покарать, сколько о том, чтобы объяснить и убедить”. Одну Полицию Мысли я знаю, пожалуй, хорошо, так как уже более десяти лет являюсь предметом ее внимания. Сначала я ожидал, что тоже встречу такого О'Брайена — демоническую личность с пронзительным умом, что он будет мне терпеливо объяснять уродливую солипсическую философию партии. Но я не столкнулся даже с самым жалким подобием такого ума. Я думаю, в таких книгах, как роман Орвелла, умный дьявол, выступающий на стороне зла, является лишь измышлением автора, подсознательным перепевом фаустовских мотивов. Это достойный противник героев, супермен в черной форме. Но ни одна Полиция Мысли в мире не имеет в своих рядах образованных и умных суперменов. Как раз наоборот, замораживающий эффект ее деятельности опирается на педантичное, бюрократическое и тупое использование насилия, всегда закодированного в каком-нибудь постановлении, предписании или законе. Именно такая деятельность, бездумная и бесчеловечная, в которой нет места для анализа абсурдных человеческих ситуаций, губит души жертв. Сила таких организаций состоит в большом числе людей, действующих как машины и использующих технику, которую ученые придумали для других целей, а также в невозможности коммуникации с такими людьми — с О'Брайеном нельзя говорить человеческим языком. Это огромное преимущество, так как образованные и думающие люди ощущают беспомощность, оказавшись лицом к лицу с бюрократическим насилием, которое действует анонимно и бездушно как кафкианское чудовище.

Путь к власти усеян жертвами, которым никто никогда толком не объяснил, почему было необходимо их повесить или расстрелять. О'Брайены в большинстве случаев не добивались от своих жертв осознания собственной беспомощности и не заставляли их отказаться от своего человеческого достоинства. Орвелл, как и многие другие, сделал ошибку, стараясь персонифицировать насилие в как можно более эффективной личности. Поэтому он создал О'Брайена. Но этот образ гораздо менее убедителен, чем образ Уинстона. О'Брайенов просто нет на свете. Говорят, что Гиммлер был обычный педантичный чиновник, а Берия — лишь бессердечный сластолюбивый мужик. Всем злодеям в мире не доставало фантазии, поэтому они ничего не знали ни о жалости, ни о том, каким будет их конец. Насилие всегда примитивно. Полиция Мысли не может вместить умных и образованных людей, потому что уму и образованию претит насилие, бесправие и подавление независимой мысли.

Полиции Мысли важно лишь одно: расследовать и наказывать преступление мысли, *thoughtcrime*. Орвелл в своей терминологии иворечи гениально постиг суть дела. Этим термином он совершенно точно выразил суть происходящего в тоталитарных странах: независимая, недозволенная мысль — это преступление. Государство может делать вид, что оно наказывает за клевету, за нарушение общественного порядка, за хулиганство и т. д. В действительности же преследуется и наказывается преступление мысли. Это нужно знать. Я знал это, и в этом состояло мое преимущество. Я никогда не спрашивал, за что меня наказывают; я не утешался болтовней 50-х годов, что все, наконец, прояснится как ошибка и смешное недоразумение. Я запомнил, о чем думал Уинстон, когда он машинально написал в своем дневнике — долой Старшего Брата!

И все же на минуту он испытал соблазн: а не вырвать ли испорченные страницы и не покончить ли разом со всей историей?

Но, сознавая бесполезность этого намерения, он отказался от него. Безразлично, станет он писать „Долой Старшего Брата!” или не станет. Безразлично, будет продолжать дневник или не будет. Все равно Полиция

Мысли доберется до него. Он уже совершил — и совершил бы, даже если бы никогда не брался за перо, — тягчайшее из преступлений, которое содержит в себе все другие. Преступление мысли — таково его название. А преступление мысли не такая вещь, которую можно скрыть навеки. Можно вернуться на время, даже на годы, но рано или поздно должен наступить конец.*

Это очень точное рассуждение. Уинстон знал свою страну как свои пять пальцев. У него не было никаких или почти никаких иллюзий. Мне сейчас, как и Уинстону, тоже ясно, что преступление мысли, несогласие, возражения, ересь, сомнения, другая вера, просто инакомыслие, хоть и глубоко в сердце скрытое — это суть всего. Ересь нельзя скрывать всю жизнь. Она когда-нибудь проявится, даже если за всю жизнь не напишешь ни одной строки.

Ужасно опасно предаваться размышлениям в общественном месте или в поле зрения телескрин. Любая мелочь может нас выдать: нервный тик, бессознательно озабоченный взгляд, привычка бормотать что-нибудь себе под нос — все, что содержит намек на необычность или походит на попытку что-то утаить. Во всяком случае, неподобающее выражение лица (например, выражение недоверия во время сообщения о победе) само по себе есть наказуемый проступок. На Новоречи для него есть даже специальное слово: *лицепреступление*.**

В Океании знали свое дело. Действительно, вечно себя под контролем не удержишь. В какой-то момент внутреннее напряжение ослабевает, открывается клапан и прошепчешь слово, усмехнешься или взглянешь — вырвется пар из кипящего котла, и ты окажешься там, где не хотел бы быть. Если тебе не повезет и нарвешься на стукача, такое слово для отвода глаз будет

* Здесь и дальше цитируется по книге Орвелла „1984” (Изд-во Litostampa Nomentana Roma) — стр. 66.

** Указанное издание, стр. 63.

квалифицировано как преступление. Но у каждого человека выработались долгими годами тренировки защитные рефлексы, мы у себя дома — чемпионы мира по утаиванию мыслей. Когда в 1968 г. на короткое время надзор Полиции Мысли ослабел, люди смотрели друг на друга с удивлением, потому что оказалось, что почти все повинны в преступлении мысли, будучи внутренне глубоко недовольны положением в стране и не согласны с официальной идеологией.

Для человека, живущего под диктатурой, главным детерминирующим признаком является его согласие или несогласие с ней. Несогласие — это гражданский грех, который довлеет над ним в трудовой и общественной жизни. Некоторые живут с этим грехом легко, но он бывает и тяжелым бременем. Для людей с открытым характером жизнь в несогласии всегда означает столкновение с Полицией Мысли, косвенное или прямое. Полиция Мысли не обязательно действует открыто, но ее руку видно в отношении к данному гражданину других звеньев государственной власти, например, начальства на работе. Несогласие и способность помнить — самые страшные болезни, которыми может заболеть человек, живущий под диктатурой. Ведь память генерирует несогласие. Помнить, не обладая удобной способностью усыплять память, когда нужно, это большой недостаток. В системе, где прошлое всегда должно гармонировать с настоящим, память изобличает ложь фальсификаторов. Если у тебя есть память, то согласие с ложью порождает сознание собственного ничтожества и трусости. Люди без памяти могут такого самоунижения избежать. У нас в Чехословакии мы накопили на этот счет большой опыт во времена, когда нас заставляли соглашаться с целым комплексом лжи. В такие моменты проявляется внутренний мир людей. У Орвелла об этом есть замечательное место — небольшой обзор вариантов поведения — как это было в прошлом и, возможно, будет в будущем. Уинстон наблюдает поведение своих коллег в столовой, в то время как с экрана звучит восторженная речь о повышении уровня жизни, о том, что...

...демонстранты благодарили Старшего Брата даже за увеличение шоколадного пайка до двадцати грамм. А

ведь не дальше, как вчера, — подумал он, — было объявлено о том, что паек *снижается* до двадцати грамм в неделю. Неужели можно было проглотить эту пшлюлю всего через сутки? Да, они проглотили ее! Парсонс проглотил ее легко, с тупостью животного. Безглазое существо за соседним столиком проглотило фанатично, со страстью, с неистовым желанием выследить, обвинить и распылить всякого, кто способен предположить, что на прошлой неделе паек равнялся тридцати граммам. Сайми, хотя и более сложным путем, путем двоемыслия, все-таки тоже проглотил. Значит, только он, *один* он помнил?..*

Вопрос, задаваемый Уинстоном самому себе, риторический. Он сам должен знать, что большинство его коллег не потеряло память, но они просто не обратились к ней, они ей пригрозили, чтобы она не повлекла неприятностей. Ошибка Уинстона в том, что он относится ко всему этому так серьезно. Если бы в эпоху реального социализма каждый носился с памятью как Уинстон, то мы все пребывали бы в постоянном отчаянии. Если, например, помнить все обещания, данные государством, размышлять об их судьбе, у нас головы бы лопнули. Полиции Мысли осталось бы только эти головы собирать. Ведь если бы планы, решения и очевидные утопии исполнились хотя бы отчасти, то страны Восточной Европы во главе со страной Старшего Брата стали бы подлинным раем материального изобилия, с ангелами вместо людей. Из далеких галактик приезжали бы гости, чтобы посмотреть на это чудо цивилизации. Память — воистину рассадник преступлений мысли!

Хотя я в отличие от Орвелла утверждаю, что Полиция Мысли оказывают на общество разлагающее влияние, убивают общество главным образом масштабиостью, анонимностью и герметичностью своей деятельности, я разделяю грустное убеждение Орвелла, что все они считают лучшим способом борьбы против несогласия — страх, унижение и, в конечном счете, уничтожение человеческого достоинства. Для этого много

* Упомянутое издание, стр. 59—60

ума не нужно. Но даже самое примитивное насилие прежде всего наносит удар человеческому достоинству и только потом причиняет физическую боль. Для такой деятельности лучше всего подходят темные бесы. Может быть, Полиция Мысли делает это бессознательно, но все ее усилия с того момента, когда человек оказывается в зловонной камере один на один со своими мыслями, направлены на то, чтобы он как можно быстрее прошел огромную дистанцию от книг, верований, философии, искусства и культуры — к животному, скорчившемуся в своем логове и напряженно прислушивающемуся к движениям хладнокровных охотников. Я воспользовался здесь сценой из „Логова“ Кафки — Кафка так же необъясним, как и Орвелл. Откуда он все это взял, живя еще в мире, который нам кажется упорядоченным и не сулившим неожиданностей?

На основе своего опыта я, пожалуй, могу согласиться с Орвеллом, что Полиция Мысли интуитивно стремится лишить человека достоинства, заставить его совершить нечто, не соответствующее его представлениям о самом себе. Если человек поддастся, он будет навсегда обесчещен в собственных глазах, перестанет быть самим собой и перестанет быть опасным для государства. Совсем не обязательно, чтобы произошло нечто чрезвычайное, достаточно небольшого предательства и небольшой трусости. Полиция Мысли в таких случаях заинтересована в предательстве. И опять-таки — необязательно предавать других; достаточно предать самого себя, свое представление о самом себе, которое ты формировал всю жизнь. Главное — сломить моральную защиту, достигнуть дезинтеграции личности человека. Этого можно достигнуть и без духовного нажима О'Брайена. С человеком, потерявшим свое нравственное преимущество, Полиция Мысли легко договорится, это подтверждено опытом. О'Брайен знает это, конечно, с самого начала; Уинстон же начинает понимать это лишь постепенно. Полностью он сознает все только в комнате № 101, когда крысы добрались уже до его лица.

— Пусть это будет с Юлией! Пусть будет с Юлией, а не со мной! Делайте с нею, что хотите, — мне совер-

шенно все равно! Изуродуйте ее! Изорвите на части! Только не меня! Юлию, Юлию, а не меня!

И он полетел куда-то вниз, в страшную пропасть, — прочь, прочь от клетки с крысами. Он был все еще привязан к стулу, но вместе с ним летел сквозь пол, стены здания, сквозь твердь и океаны, сквозь земную атмосферу, куда-то в иные сферы, в межзвездную бездну, — все прочь, прочь и прочь от крыс. Он был уже на расстоянии световых лет от них, но О'Брайен все еще стоял возле него. И тут в окутавшем его мраке раздался металлический щелчок затвора. И Уинстон понял, что дверца клетки не открылась, а, наоборот, захлопнулась.*

В этом абзаце сказано, пожалуй, все, что можно сказать о человеке в такой ситуации. Больше ничего не нужно. Что значит — падать назад, в межзвездную бездну? Это падение во времени, возвращение к животному состоянию, дегуманизация... Так или иначе — вынужденный отказ от уважения к самому себе существенно меняет человека. Из Уинстона это сделало равнодушного человека, сидящего над стаканом джина. В его сердце сгорела вера в разум, в правду. Осталась лишь любовь к Старшему Брату.

Найдутся, наверное, люди, которые скажут, как мог он дойти до такого? Но пусть его судит лишь те, кому голодные крысы обглодали лицо. Уинстона можно упрекнуть только в том, что он поставил себя под удар Полиции Мысли.

VIII. МЕТАМОРФОЗЫ

Вся третья часть книги Орвелла посвящена метаморфозе Уинстона, его преобразению из преступника мысли в сломленного человека без воли, без человеческого достоинства, который действительно любит Старшего Брата и без сопротивления ждет пули в затылок. Детальность описаний в этой части книги является выражением всеобщего в то время, а особенно острого

* Упомянутое издание, стр. 286—287

у Орвелла, стремления раскрыть тайну успешного промывания мозгов — страшной неестественности поведения людей, обреченных на гибель, которые на пороге смерти обливали себя грязью, покорно признавались в явно вымышленных ужасных заговорах и убийствах. Когда Орвелл писал свою книгу, механизм устройства потрясающего спектакля политических процессов, инсценированных в Москве, а уже после смерти Орвелла и во всей Восточной Европе, был покрыт плотным покровом тайны. Эти загадки и тайны будоражили и других авторов того времени. Почти все мыслящие люди были глубоко впечатлены необъяснимой морbidностью и метафизичностью, которые слышались в покорных голосах бывших революционеров, просящих для себя смерти, как будто эта смерть должна была стать искуплением за содеянные ими ужасы, которые никто из живых не мог себе представить. Я помню, что мало кто из европейских интеллектуалов был тогда способен принять самое простое объяснение: что голоса выступавших перед трибуналом принадлежали не людям, а существам, похожим на людей, но лишенным основных атрибутов человека, прежде всего чувства достоинства, памяти и уверенности в реальности вещей. Это были создания, уже жившие в ином, искусственно созданном мире — в вынужденном беспамятстве.

Когда Орвелл на примере судьбы Уинстона стремился решить эту загадку, у него не было для этого данных, которыми располагаем мы сегодня. После показаний свидетелей, переживших войну и мучения, которым подвергались люди, стало очевидным, что способность человека выдержать физические мучения имеет пределы и что примитивными побоями можно почти из каждого выжать то, о чем он и представления не имеет. Даже самые ужасные рассказы о немецких или японских камерах попыток укладывались в обычную логику: людей мучили, чтобы узнать, что они утаивают. Иногда это удавалось, иногда — нет. Это было испытание огнем на стойкость. Стены всех застенков покрыты кровью выдержавших и погибших с сознанием, что они не стали предателями — других людей или какого-то святого дела (или, точнее говоря, дела, которое они считали святым). Никто не вел статистику, кого было больше. Но, наверное, не совершивших предательства было меньше.

Этот тип насилия имел свою логику. Людей мучили, чтобы они выдали своих товарищей, организацию и т. п. Это был неравный поединок между жестокой силой и внутренним мужеством. Но все же здесь существовали какие-то правила: мучители обычно оставляли своим жертвам их веру и право прокричать перед смертью о своей ненависти или спеть гимн.

В такой ситуации для человека, наверное, все-таки важно, что его смерть — часть общей мученической жертвы сотен тысяч людей, умиравших с надеждой на лучшее будущее, что это смерть человека, а не раздавленного червя.

Орвелл на примере Уинстона стремился показать более сложную и гораздо более страшную ситуацию, в которой тогда оказались сотни тысяч людей; им оставалась лишь пустота без утешения. После предварительной обработки, после ампутации всех человеческих качеств, казнь была простым окончанием вегетативных процессов в человеческом теле, остановкой дыхания и сердцебиения.

Именно это происходило с бывшими революционерами, причем не только со скрытыми или явными оппозиционерами, но и с преданными и совершенно невиновными, которым лишь случайно досталась роль в театре политических процессов. Именно такая ситуация больше всего интересовала Орвелла. Тогда об этом шли бурные споры. Современники разделились на поверивших официальной версии, т. е. поверивших, что это не театр; и на тех, кто не поверил, но все равно не мог себе представить правду. Причем поверили не только коммунисты, которым было велено. Поверил и тогдашний американский посол в Москве, поверил президент Чехословакии Бенеш и другие деятели, от которых следовало ожидать независимого мышления. Пытаясь припомнить свои впечатления от подобных процессов в Чехословакии, происходивших в пятидесятые годы, я и сегодня не могу сказать, верил ли я им или не верил. Но это была самая большая интеллектуальная травма, какую я когда-либо пережил, и я всегда поражался, что когда правда была раскрыта, все оставалось на своих местах, и люди, уже обо всем зная, не сделали ничего драматического и даже не изменили своего образа жизни.

Однако в наших размышлениях обо всем этом у нас по сравнению с Орвеллом есть преимущество в годах, прошед-

ших с того времени, когда Уинстона привели в подвал Министерства Любви, чтобы выяснить, что он способен вынести. Сегодня мы, в сущности, знаем, что там происходило. Существуют книги свидетелей и тех, кто сам прошел через этот ад и выжил. Стремясь освободить ум от травмы, я глотал все, что было написано о процессах. Все вместе дает полную картину, и в этом смысле в наших знаниях нет пробелов. Пробелы остаются только там, где сознание отказывается принять простое объяснение. Как ни странно, аутентичные рассказы свидетелей менее полны, чем литературные попытки такого типа, например, роман А. Кестлера „Тьма в полдень” (Dark in the Noon). Самое поразительное, что превращение человека в существо без воли и самоуважения, уже не скрытое никакими тайнами, не подтвердило домыслов о применении дьявольски сложных методов и неизвестных медикаментов. Оказалось, что такого превращения можно добиться очень примитивными методами, в сущности настолько простыми, что они не оставляют на теле даже синяков. Орвелл не верил, что эти методы столь просты. Поэтому он повел Уинстона коридором ужасов и кошмара, доведя его до кульминационной сцены с крысами. Уинстону пришлось пройти всем — начиная с обыкновенного избития и пинков, через пытки при помощи сложных приборов, и кончая комнатой № 101, где в нем угас последний лучик человечности.

Орвелл всегда развивал до утопического совершенства все составные части системы Океании. Он развил, таким образом, до абсурдного совершенства и весь процесс промывания мозгов, используя для этого всю свою фантазию. Время от времени Орвелл описывает физические мучения, чтобы читатель корчился от боли: когда ломают позвоночник или когда перед глазами появляются желтые крысиные зубы. Но все-таки наибольшее внимание он обращает на духовные муки. О’Брайен в этом отношении как профессионал утопически совершенен. Он охотно, с историческими экскурсами, объясняет Уинстону, что у него нет никаких шансов, поскольку он оказался в о’брайеновских руках. Он рассказывает Уинстону, о глупости инквизиции, сжигавшей еретиков на кострах — ведь на смену каждому сожженному, ставшему мучеником, вставала тысяча других. О методах нацистов и коммунистов он говорит презрительно. Он — провозвестник будущего. Он высмеивает ничтожество и примитив-

ность прежних методов, которые, несмотря на свою кажущуюся эффективность, лишь плодили мучеников:

Мы этих ошибок никогда не допускаем. Все признания, которые произносятся здесь, — истинны. Мы делаем их истинными. А главное, мы не позволяем мертвым восставать против нас. Перестаньте воображать, что потомки отомстят за вас. Потомки даже не услышат никогда о вас. Вы начисто исчезнете из истории. Мы обратим вас в газ, а газ развеем в стратосфере. От вас не останется ничего: ни имени на документах, ни памяти о вас в умах людей. Вы уничтожитесь не только для будущего, но перестанете существовать и в прошлом. Вы не существовали никогда.*

Конечно, таков идеал любой тоталитарной власти, поскольку пока существует какое-либо, хотя бы подавленное, воспоминание о правде, всегда остается возможность воскресить ее. Есть имена, оживающие сто лет спустя, или даже несколько столетий спустя. Идеи давно забытых людей вдруг начинают определять происходящее в мире и каким-то таинственным образом овладевают умами. О'Брайен гордится таким изобретением как тотальная ликвидация личности, он горит внутренней страстью, когда говорит Уинстону обо всем этом, но, может быть, он чувствует, что эта теория отражает лишь его желание и что Уинстон все-таки прав в упрямой вере в неотменимую реальность истории. Эти разговоры во время пыток имеют в романе Орвелла определяющее значение. Здесь общие рассуждения о власти отступают на второй план, остается основное — личность, борющаяся за свое существование. Уинстон стоит здесь перед О'Брайеном без какой-либо концепции, без исторической базы, потому что он, собственно говоря, об истории ничего не знает. Он лишь старается сохранить остатки своего превосходства, основанного на убеждении, что у человека нельзя отнять то, что закрепилось в его сознании. О'Брайен решил в этой борьбе сломать в Уинстоне и это убеждение. Орвелл описывает эти

* Упомянутое издание, стр. 253.

сцены так, как если бы он сам находился под пыткой. Как будто он хотел любой ценой установить, насколько непробиваема человеческая кожа, скрывающая животную суть. Здесь идет отчаянная оборона независимой мысли. О'Брайен понимает его, может быть, лучше, чем Уинстон понимает сам себя. Во всяком случае, он лучше формулирует:

— То, что случилось с вами здесь, — случилось навсегда, навек. Зарубите это на носу. Мы сокрушим вас так, что возврата к прошлому для вас не будет. С вами произойдет нечто такое, от чего вы не оправитесь и через тысячу лет. Никогда больше простые человеческие чувства не вернуться к вам. Все внутри у вас умрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любознательность, доблесть, честь — все это будет недоступно вам. Мы выскребем из вас все начисто, а потом заполним вас собою.*

Мы не можем ожидать от автора антиутопии, чтобы он привел Уинстона к победе. Все послание книги было бы тогда другим. Уинстон должен проиграть, чтобы система осталась совершенной. У него отняли все человеческое, и как пустой пузырь наполнили любовью к Старшему Брату. Об этом хорошо писать, но удовлетворение от логики Орвелла немного портит сознание, что вчера, сегодня и завтра шли и пойдут к пустоте, по пути Уинстона, миллионы людей, объекты обыкновенного грубого насилия, которым даже не пытаются объяснить, что от них требуется и зачем все это делается. Возможно, носители такого насилия даже точно и не знают, почему все это происходит, но инстинктивно чувствуют, что если подавить независимую мысль и унижить людей так, что им будет стыдно за себя перед самими собой, то они станут послушными как овцы и ими легко будет управлять. Но Орвелла мы в этом упрекать не можем.

Когда я сам вдруг очутился в подвалах Министерства Любви (правда, там не было белой изразцовой облицовки, это была вонючая и грязная дыра) мне мало помогало, что я все это

* Упомянутое издание, стр. 255—256.

уже однажды пережил вместе с Уинстоном и что я приблизительно знал, какой тип испытания меня ожидает. Эту работу мне пришлось проделать самому, но я бесконечно благодарен Орвеллу за то, что он все-таки проторил для меня дорогу. Я помнил разговоры О'Брайена, и поэтому не поддавался соблазну принять всерьез предъявленные мне обвинения. Я просто о них не думал. Я знал, что это испытание другого рода, что самое важное — сохранить разум, не стать человеком, не способным ни к любви, ни к дружбе. В этой цитате основные способности человека названы как бы случайно. Но я помню, что я воспринимал их важность в той же очередности. Знание не облегчает испытания, в котором участвует в первую очередь тело, а потом душевная боль, умерщвленные мечты и ночные страхи. Но такое знание избавляет от необходимости лихорадочно искать какие-то другие причины. За это я до сих пор благодарен Орвеллу. Если бы ступени страданий Уинстона были ниже, мои ступени стали бы выше, но поскольку ступени Уинстона вели туда, „откуда нет возврата“, я мог повторять про себя: чего не дал бы Уинстон за то, чтобы он мог быть на моем месте! За время моего заключения меня никто не тронул, никто не причинил мне физической боли, а мой О'Брайен был обыкновенным чиновником, не способным к сложным рассуждениям, не говоря уж об отсутствии дьявольского ума. Он стремился только к тому, чтобы его похвалили, наградили, повысили.

Несмотря на это, я понял, как легко лишить человека чувства принадлежности к жизни с ее простыми человеческими радостями и заботами, как легко отделить его от мира, навязать ему чувство его ничтожности и беспомощности. Как просто создать преграду между изгнанником и миром за стенами тюрьмы, как просто сделать из ценностей жизни абстракции без вкуса и запаха. Как просто отдалить человека от жизни настолько, что он вскоре начинает воспринимать свое собственное прошлое как через толщу зеленой воды, о которой постоянно говорит Уинстон. Как просто внушить человеку мысль, что именно он разбивает рамки нормальности и человеческих критериев, а не весь этот огромный аппарат кафкианских чиновников, надзирателей, судей и обвинителей, пишущих протоколы, участвующих в совещаниях, производящих кипы документов, якобы служащих

какой-то цели... Цели, которую нельзя точно определить, но которая создает впечатление реальности и таинственной важности — раз уж ей занимается столько людей и раз уж на нее тратится столько денег.

В этом состоянии легко поддаться чувству, что тебя привела в тюрьму болезненная неспособность забывать то, что нужно забыть, и думать так, как следует — как О'Брайен объяснил Уинстону:

— Вы здесь потому, что недостаточно покорны и вам не хватает самодисциплины. За душевное здоровье платят подчинением, а вы не пожелали дать этой цене. Вы предпочли сумасшествие, предпочли остаться в меньшинстве, даже в единственном числе. Лишь дисциплинированный ум видит вещи такими, каковы они есть, Уинстон.*

Этот педагогический тезис О'Брайена настолько замечателен и точен, что мне приходилось выслушивать его много раз. Его почти в той же форме передавали мне из государственных органов. Очевидно, в том-то и дело. Если ты руководишься собственной совестью и не подчиняешься большинству, то ты сумасшедший, потому что идти с большинством всегда выгодно. Но в моей стране веру в собственное психическое здоровье поддерживает сознание, что понятия большинства и меньшинства переменялись местами. Не так уж сумасбродно думать вместе с большинством и отказываться от преимуществ, которые приносит согласие с меньшинством.

Тюрьма помогла мне по-своему объяснить великую тайну орвелловской эпохи. Я понял, что человека можно сломить без пыток и изощренных методов. Для этого достаточно самого по себе общепризнанного учреждения, если туда попадет человек неподготовленный. Мужчины и женщины, жившие долгие годы в условиях европейской цивилизации, вдруг оказываются объектами манипулирования, и уже это полпути к дегуманизации. Если им выпадет испытать серию мелких унижений, если

* Упомянутое издание, стр. 248.

им придется стоять с руками за спиной, если на них будут орать как на скот, если им дадут отвратительную еду в грязной миске, если они будут страдать от отсутствия гигиены и своего укромного уголка — то они готовы для О'Брайенов. Далее все будет зависеть от их поведения в последующие дни, недели, месяцы и годы: какова будет их внутренняя жизнь, на какие плечики они развесят в уединении свои платяца, кусочки души, воспоминания и привязанности. Важно, чтобы у них нашлись плечики для надежды, веры и собственных убеждений. Я, например, укреплял себя идеей (вовсе не моей собственной) о нестремимости культуры и письменности. Между прочим, Уинстону это не было дано. Он, бедный, жил в эпоху, когда уже никакой культуры не было и каждый написанный клочок бумаги навсегда исчезал в яме забвения. Одним словом, я попал в руки Полиции Мысли в лучшие времена. Историческая память еще жива и будущее не обязательно будет принадлежать тем, кто овладел настоящим.

Для меня перестало быть тайной, почему в прошлом люди без физических пыток отказывались от самих себя и признавались в преступлениях, которых не было, и даже просили для себя смерти. Они делали это, быть может, лишь ради нескольких часов сна без перерывов или чтобы все кончилось. Я видел — в миниатюре — достаточно для того, чтобы представить себе это в крупном масштабе. Человека нетрудно ранить, для этого нужно совсем немного. Комната № 101 для многих просто не нужна. Человека можно вернуть на тысячу лет очень простыми средствами. О'Брайен и это знает, и издевается над Уинстоном, над его нетвердой защитой человечности. Он говорит ему с иронией: „Вы последний представитель рода человеческого. Вы страж человеческого духа. Сейчас вы увидите себя таким, каков вы есть на самом деле. Раздевайтесь!“ Уинстон сбросит с себя грязные тряпки, еще висящие на нем, и О'Брайен заставит его, посмотреть на себя в зеркало.

Пепельно-серое, скелетообразное существо, согнувшись в три погибели, шло ему навстречу. Вид этого существа наводил ужас, но не только потому, что Уинстон узнал в нем собственное отражение. Он подошел

к зеркалу ближе. Из-за того, что чудовище двигалось ссутулившись, череп его непомерно выдавался вперед. На Уинстона глядело лицо жалкого закореневшего арестанта с высоким лбом, переходившим в лысину, с перебитым носом и развороченными скулами, над которыми жарко горели настороженные глаза. Щеки были покрыты морщинами, углы рта скорбно опущены. Определенно это было его собственное лицо, но ему казалось, что внешне он изменился куда больше, чем внутренне.*

При взгляде на такое отражение в зеркале чувство морального превосходства исчезает очень быстро. Все просто, все известно. Полосатый костюм, голод, грязь и болезни сделают из профессора физики или пианиста-виртуоза создание, которому делается плохо при взгляде на самого себя. О'Брайен все понимает. Он еще любезно сообщает Уинстону, что он плохо пахнет:

— Что вы такое? Мешок с дерьмом. Повернитесь к зеркалу еще раз. Видите вы страшилище, которое глядит на вас? Это последний представитель рода человеческого. Если вы человек, то перед вами — человечество.**

Действительно, О'Брайен не дает Уинстону передохнуть. Он — истинный дьявол. Он наглядно показывает, как легко отнять у человека уважение к самому себе, сделать из него несчастную тварь, ползающую по полу и вымаливающую окуроч... Если униженно, даже не жестоко, мало заметное, против которого не выступила бы никакая комиссия по правам человека, длится годами, практически в течение целой исторической эпохи, когда людей унижают в городе, в деревне, на заводах, в школах, то это, наконец, действует так же, как унижение, пережитое Уинстоном. Когда оно принесет свои плоды, тогда придет настоящий 1984 год... Когда же такой 1984 год наступит, государствен-

* Упомянутое издание, стр. 271.

** Упомянутое издание, стр. 272.

ные деятели будут улыбаться друг другу, пожимать друг другу руки и им не будет стыдно общаться с убийцами.

IX. НОВОРЕЧЬ

Мне трудно судить, как воспринимает читатель, не имеющий опыта жизни при тоталитарном режиме, те части книги Орвелла, где говорится о новоречи, и как он воспринимает педагогически составленный краткий обзор словарного запаса и грамматики этого языка. Может быть, его эти места книги не волнуют; может быть, ему орвелловский анализ этого явления кажется странным капризом в других отношениях замечательного писателя. Быть может, прочитав эти несколько абзацев, он просто отложит книгу. В странах, где газеты, радио или телевидение говорят на языке, который особо не отличается от повседневного языка межчеловеческих коммуникаций, искусственная филология новоречи может показаться несколько чокнутой. До сих пор еще существуют, надеюсь, языки, в которые новоречь не проникла. Говорящие на таких языках пока еще не успели заметить, как их язык постепенно преобразуется в смиренительную рубашку. Каждая интересная, незатасканная мысль в такой рубашке с трудом дышит, хрипит и, наконец, умолкает.

Нам, однако, на основе длительного опыта и личной борьбы за то, чтобы освободиться из этой рубашки, кажется, что тезис Орвелла о языке, который не позволяет выразить независимые мысли, представляется крупным открытием, каких вне естественных наук мало. В своих педантичных рассуждениях Орвелл очень ясно показал трудно описуемый процесс обеднения языка, уже многие годы происходящий в большой части мира. Профессиональные филологи покамест не обратили внимания на этот процесс. Между тем он захватил Восточную Европу так крепко, что беззащитное население уже теряет способность выразить отличающуюся от официальной оценку действительности. Благодаря филологическому очерку Орвелла все вдруг становится ясным. Кое о чем я давно догадывался, как и все, занимающиеся языком. Язык как бы забастовал. Ходкие фразы

стали навязывать человеку ход мыслей, ему не свойственный. Это — чрезвычайно неприятное ощущение: язык сам работает в своих застывших формах, он противится оригинальной мысли, сопротивляется, и приходится прилагать огромное усилие, чтобы подчинить его себе.

Пока я не знал о новоречи, ее грамматике и словарном запасе, я не мог понять, в чем дело. Я только испытывал усталость и отвращение, когда слушал речи, ничем друг от друга не отличавшиеся, повторения одной и той же схемы так, что ораторы были вполне взаимозаменяемы. Только когда я занялся грамматикой новоречи, я понял, что под ее покровом происходит глубокий процесс, в ходе которого неумолчно уничтожается язык как инструмент мышления, превращаясь в неживое и уродливое орудие для повторения мыслей, кодифицированных в официальной идеологии. Понять это было трудно, потому что, в отличие от Океании, это не прокламировалось публично. Насилование языка происходило скрыто. Вслух говорилось, и до сих пор говорится, что пустые фразы и серость языка — худшие враги эффективной пропаганды. Это постепенное уничтожение богатства языка не имеет названия и никто в нем не признается. В отличие от Океании, у нас, вероятно, нет штатных работников в государственных институтах, которые бы, как Сайми, с энтузиазмом занимались ограничением словарного запаса.

У Орвелла все более ясно, потому что он предполагал, что все это будет происходить планомерно, продуманно и открыто. Он подробно излагает и объясняет теорию создания деклассированного языка, которая, как и другие уродливости, является частью целеустремленного и продуманного плана. Это — основная разница между орвелловским видением и действительностью. В Океании Полиция Мысли не скрывает, что она преследует ересь, между тем как действительная полиция утверждает, что она охраняет государство. Миннстерство Правды в Океании не скрывает, что оно каждую информацию приспособливает к нуждам власти; подобные учреждения в тоталитарных системах утверждают, что для них нет ничего важнее правды. Те, кто занимаются совершенствованием новоречи в Океании, открыто провозглашают, что когда она будет применяться повсеместно, все люди будут полными идиотами, и тогда им станет совсем хо-

рошо. В действительности же ограничение богатства языка происходит тайно, а публично утверждается, что язык развивается и обогащается как никогда. В этой открытости в Океании и утаивании в реальном мире состоит основная разница между миром Орвелла и действительностью.

Нас, читателей, имеющих опыт имитации Океании, приводит в ужас именно этот трюк. То, что мы смутно воспринимаем как побочный продукт системы, ее стагнации и упадка, ее несовершенства или ее деформации — у Орвелла выступает как результат изощренных и продуманных теорий, как результат тщательного труда десятков тысяч работников крупных учреждений, как план, понимание которого выходит за рамки человеческого разума. Эта концепция поражает. Опыт подсказывает нам, что так могло бы быть и, действительно, многое происходит так, будто за всем этим упрятан большой мозг. Но мне не совсем ясно, можно ли утешать себя знанием, что такого мозга на самом деле нет и что все происходит само по себе — по глупости и на основе органических нужд системы.

Это относится и к варваризации языка. У нас нет ни словаря, ни грамматики того особого языка, которым говорят газеты, радио, телевидение и каждый, кто обращается к группе больше чем из трех человек. Несмотря на это, создается впечатление, что это происходит планомерно. В замкнутой системе, где постоянно повторяется несколько мыслей и идеологических конетрукций, при помощи которых происходит сварка и монтаж обычных пропагандистских выступлений, идут ко дну менее обычные и более редкие слова, неясные выражения и идеологически не кодифицированные понятия, сочетания слов, над которыми нужно думать, и многое другое. Ко дну идут также слои языка, которые придают речи запах, цвет и вкус. На поверхности языка остается жидкая пузыряристая накипь, у которой одна-единственная цель: затемнять мозги, застилать глаза, все перепутать так, чтобы мы охотно видели пять пальцев там, где их всего четыре. Так создается сам по себе эталон языка, доступного каждой посредственности. Никому не нужно ломать голову над оттенками отдельных слов и, наконец, вообще ни над чем. Непосредственное следствие этого процесса состоит в том, что упадочным языком можно произнести лишь общие фразы

соглаеия и, в конце концов, забывается, что несогласие вообще может существовать и выражаться в словах. Таким языком можно создать изобилие там, где царит недостаток, свободу там, где господствует насилие, суверенитет там, где есть лишь вассальная зависимость.

Пока я не изучил грамматику новоречи, я всегда страшно удивлялся таким языковым трюкам. Я не мог понять, откуда они, и отворачивался, чтобы их не слышать. Орвелл избавляет нас от этого удивления. Иногда я веду себя как Сайми, когда бываю свидетелем какого-либо интересного проявления двоемыслия или слышу полчасаовый доклад на уткоречи, в котором удалось не сказать абсолютно ничего. Я почти радуюсь этим проявлениям мудрых предсказаний Орвелла, и я рад, что у меня с Орвеллом есть общая тайна.

С новоречью, однако, связана одна трудность — ее можно полностью понять только на английском языке; на другой язык ее практически перевести нельзя. Правда, можно попытаться, но перевод не может дать новоречи то, что дает ей английский язык. При переводе новоречи на чешский приходится прибегать к насилию над языком и возникают уродливые формы, которые из-за своей неестественности не передают основного качества новоречи — ее простоту. Так, например, можно с определенной мерой естественности перевести слово “thoughtpolice” как „идеополиция” (Полиция Мысли в русском переводе), но из десяти вариантов чешского эквивалента для слова „нюспик” („новоречь” в русском переводе) не удовлетворяет ни один. Сложные слова, которые могли бы быть приемлемыми, звучат немного архаично, а не как слова 1984 года. Очень трудно адекватно перевести на чешский язык абсурдное филологическое рассуждение, развиваемое Амплефортом после ареста:

— Мы готовили к печати полное и исправленное издание стихов Кипплинга. И я оставил слово „Провидение” в конце строки. Ничего иного я не мог сделать... Строку невозможно было изменить. Рифмой было „сочленение”. Известно ли вам, что во всем английском языке существует лишь двенадцать рифм к слову „сочленение”? Я

ломал голову целыми днями. Но другого слова, кроме „Провиденне”, не было. Просто не было!*

Это трудно перевести, но, как ни странно, никто, имеющий наш опыт, не будет считать абсурдным, что Амплефорта арестовали из-за этого одного словечка. Слово „Бог” в нашем обществе не принято. Из нашего официального языка оно фактически исключено, хотя на этот счет не было принято никаких решений, и, вероятно, нет приказа о том, что оно запрещено. Таинственные процессы в словаре чешской новоречи происходят медленно и незаметно. Идут годы, и вдруг какое-то слово исчезает или исчезает чья-то фамилия или еще одно неудобное слово. Слово „Бог”, например, в наших газетах и массовых средствах информации почти не появляется, разве что в каких-нибудь старых пьесах. Постепенно оно исчезает и из поговорок, приветствий и даже из ругани. Просто в нашей повседневной жизни Бог нелицо, „нонперсон”. Я знаю и простых верующих, которые предпочитают говорить „Тот наверху”, поднимая глаза к небу.

Все это выглядит комично только на первый взгляд. Орвелл, однако, пророчески сделал именно из новоречи идеологическую основу англосоца. Лингвистический анализ расшифровывает многие идеологические явления. Наиболее важным является тот установленный факт, что главный признак упадка языка — не избитые фразы, искаженные слова и сокращения, а трафареты, которые делают невозможным свободное мышление. Эти последствия нашей новоречи можно услышать и прочесть на каждом шагу. Когда я читаю передовицу или слушаю комментарий по радио, я с удивлением отмечаю, как мало слов нужно для описания какого-нибудь идеологизированного факта. В такие минуты я вижу перед собой фанатичное лицо Сайми и слышу, как он за обедом объясняет Уинстону подлинную роль новоречи:

— Мы уничтожаем слова, множество слов — сотни каждый день! Мы урезаем язык до костяка...

...Прекрасная это вещь — уничтожение слов!.. Тебя не

* Указанное издание, стр. 229—230.

захватывает прелесть уничтожения слов. Известно ли тебе, что Новоречь — единственный язык в мире, словарь которого с каждым годом уменьшается?

...Разве ты не понимаешь, что все назначение Новоречи состоит в том, чтобы сузить границы мысли? В конце концов мы сделаем преступление мысли буквально невозможным, потому что не останется слов для его выражения. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним, и только одним словом с совершенно определенным значением, а все побочные понятия сотрутся и забудутся...

...С каждым годом все меньше и меньше слов и все уже и уже границы сознания.*

Я не верю в многие предсказания Орвелла: не верю в возможность полного контроля за мыслями; не верю, что жизнь можно опутать оковами политических и идеологических правил; не верю в перманентную войну; не верю, что единственной надеждой являются пролы — я многому не верю. Но понемногу я начинаю верить, что разрушением языка можно ограничить мышление. Учитывая огромные возможности, которыми сейчас распоряжается каждая политическая власть, имеющая в своих руках радио и телевидение, можно себе представить, что массы подданных будут оглушать уткоречью до тех пор, пока однажды — я не берусь спорить, в каком году — от старого языка, стихов, народной речи и литературы не останется редуцированный сгусток, звуки которого слышны уже сегодня. Редуцированный язык чем-то заразен. Я много раз замечал, что люди, которые дома или на улице говорят свежим и нетрафаретным языком, сразу переходят на ограниченный и уродливый язык, как только им приходится выступать на собрании или в заранее подготовленной телевизионной передаче. Это заражает и детей. Наша домашняя новоречь уже стала языком публичных выступлений и обращений к начальству. Она уже развесила сети и ловит мысли, как мух, чтобы выпить из них соки и бросить как сухую падаль. Наблюдать это страшно.

* Указанное издание, стр. 52—53.

Утешаться мы можем только уроками истории. Пока существуют слои, не затронутые этой новоречью, живой язык может верпуться и в учреждения и в газеты. Слава Богу, классиков пока не переписывают, существует богатая неофициальная культура и пока не поставлен на учет каждый лист чистой бумаги, она будет существовать. Тем не менее, от страстного монолога Сайми делается плохо.

У нашей новоречи нет ни словаря, ни собственной грамматики. Но ее можно узнать по единственному предложению, может быть, даже по нескольким словам. Достаточно для этого прослушать диапазон коротких волн на радиоприемнике. Чешский или словацкий язык услышишь при этом по крайней мере раз десять. Слушателю не нужна особая тренировка, чтобы по нескольким словам определить, какой идеологический ветер к нему долетел. Нашу новоречь узнаешь моментально — по словам, а не по акценту. Это слова, которые сразу посылают в ухо знакомый сигнал. Это синтаксис с домашним запахом. Это просто наша домашняя новоречь. Чешский язык, приходящий откуда-то издали, тоже узнаешь сразу — по его особенностям. Он по-другому звучит из Америки, иначе из Тираны и еще иначе из Ватикана.

Эти небольшие наблюдения свидетельствуют, что мир уже близок к фантазии Орвелла. Языки ведут идеологическую борьбу независимо от людей. Одна и та же вещь выглядит иначе, возможности взаимопонимания сужаются. Филологические рассуждения Орвелла были направлены в будущее и, наверное, лучше было бы, чтобы они не воплотились в жизнь и не исполнилась бы зловещая фраза, сказанная Сайми:

— Приходило ли тебе когда-нибудь на ум, Уинстон, что к 2050-му году, самое позднее, не останется в живых ни одного человека, способного понять разговор, который мы сейчас ведем?*

* Указанное издание, стр. 53.

Х. ЗАЧЕМ?

Композиция „1984“ не сложна. Это простая хроника года, его нескольких месяцев, в течение которых Уинстон многое переживет. Герой романа, собственно говоря, единственный, потому что все остальные, в том числе Юлия, лишь тихо сопровождают Уинстона в его внутренних поисках. Уинстон сам все рассказывает, он всегда присутствует на сцене, книга могла бы быть его дневником.

История приключений мысли Уинстона продумана гораздо более тонко и наполнена внутренним напряжением. Уинстон доверяет читателю свои мысли постепенно, ужас его открытий нарастает, а в тюрьме мы являемся свидетелями того, как пытают ум. Это ум мечется под электрошоками и под дубинками надзирателей, душа бьется в унижении. Это не позвоночник ломает пополам, а сознание человека. Эта линия романа имеет продуманную градацию, которая сама по себе создает напряжение и привлекает внимание.

Параллельно с мучительным поиском слов старой песенки в книге звучит еще один повторяющийся мотив. Это мучительный поиск ответа на вопрос, который Уинстон постоянно задает сам себе. Это поиск ответа на вопрос, без которого правда никогда не может быть полной. Это поиск ответа на вопрос — **ЗАЧЕМ?** Уинстон с самого начала ищет смысл существования ужасной организации, он ищет главную причину того, почему партия держится у власти. Постепенно он находит почти все ответы на вопрос — **КАК?** Сам, или с помощью О'Брайена, он анализирует все функции общества Океании и приходит к пониманию того, как оно функционирует. Он уже знает все: знает, как делаются изменения прошлого; знает, как работает Полиция Мысли, знает, какими методами ведется война и как разрушительно действует новоречь.

Но до самого конца его мучает вопрос — зачем? Почему все это происходит, какой смысл в абсурдной деспотической власти, если она, в сущности, никому не дает облегчения и никому не приносит пользы. Этот роковой вопрос Орвелла открыт по сегодняшний день. Мы не знаем, можно ли на него однозначно ответить.

В более широком смысле мы имеем дело с вопросом о смысле революции, о смысле всех движений за улучшение мира и о смысле крупных исторических событий. Как социалист и революционер, Орвелл задавал себе этот вопрос особенно настоятельно. В то время это был также вопрос о смысле русской революции. История Океании также начиналась великой революцией. Поэтому Уинстон так интересуется историей. Чтобы выяснить, что было уничтожено, какова была цена всему этому и почему этим пожертвовали во имя идеала, который, в конечном счете, принес нищету, насилие и войну.

Это — мотив отчаяния, проходящий через весь роман, он не перестает повторяться, даже когда О'Брайен отвечает измученному и обесчеловеченному Уинстону. Ответ мы находим только в этих местах романа, только здесь он четко сформулирован. И звучит без медных труб, не давая облегчения. Ответ — ни рыба, ни мясо. Вероятно, он не удовлетворил и самого Орвелла. Сначала О'Брайен старается добиться ответа от Уинстона:

...Вы достаточно хорошо понимаете, как Партия держится у власти. Но скажите, *почему* мы так цепляемся за власть? Что нас побуждает к этому? Почему мы должны жаждать власти?*

Уинстон уже не может четко думать, он стремится избежать новой боли, и поэтому старается сформулировать ответ так, чтобы он О'Брайена удовлетворил и убедил бы его в том, что дальнейшая пытка не нужна:

— Вы правите нами ради нашей пользы... Вы считаете, что люди не могут управлять собою и поэтому...**

Это разумный ответ, лестный и в данной ситуации доброжелательный. В нем есть своя логика, не так уж далекая от общего образа мысли. В мире достаточно людей, которые такой ответ

* Указанное издание, стр. 261

** Указанное издание, стр. 262.

принимают, как естественный, и спокойно оставляют власть в руках людей, знающих, как они думают, дело лучше.

Но Уинстона за этот ответ наказывают, а О'Брайену придется самому изложить мотивировку власти:

...Партия стремится к власти исключительно в собственных интересах. Мы нимало не интересуемся благом других; нам нужна лишь власть. Не богатство, не роскошь, не долголетие, не счастье, а одна лишь власть, — власть, как таковая. Что значит власть, как таковая, — это вы сейчас поймете. В отличие от всех олигархий прошлого, мы знаем, что мы делаем. Все прежние олигархии, даже походившие на нашу, были лицемерны и трусливы. Немецкие нацисты и русские коммунисты были очень близки нам по методам, но им не хватало мужества осознать собственные побуждения. Они притворялись и, быть может, даже верили, что овладели властью, сами того не желая и на ограниченное время, и что где-то рядом, чуть не за углом, человечество ждет земной рай, в котором все будут свободны и равны. Мы не из таких. Мы знаем, что еще никто не захватывал власть с намерением отказаться от нее. Власть не средство, она — цель. Не диктатуры создаются для защиты революции, а, наоборот, революции совершаются для установления диктатуры. Цель гонения — гонение. Цель пыток — пытки. Цель власти — власть.*

Здесь можно было бы прекратить этот повторяющийся вопрос, потому что, наконец, был дан ответ, почему тоталитарные системы держатся всеми средствами, когда у них уже нет ни явной, ни скрытой причины, которая бы оправдывала их существование. Была высказана истина, которая должна была Уинстона ошеломить. Но Уинстон вовсе не ошеломлен. Он больше занят тем, каким старым, изможденным выглядит О'Брайен. Читателя, который нетерпеливо ждал ответа на центральный вопрос всей книги, конечная истина Орвелла тоже не совсем

* Указанное издание, стр. 262—263.

удовлетворяет, она даже не воспринимается как последнее слово. Это фанатичное признание О'Брайена кажется как бы маневром, препятствующим раскрытию тайны. Орвелл не приводит этот ответ таким образом, чтобы было ясно, что это его ответ. Он дал ответить О'Брайену, но О'Брайен может лгать, как он уже делал столько раз. Загадка остается. Она, по крайней мере, не разгадана однозначно, и мы с этим примиряемся, потому что знаем по собственному горькому опыту, каковы однозначные ответы на сложные вопросы. И потому предпочитаем, чтобы остались возможности и для других решений.

О'Брайен, собственно говоря, не сказал ничего нового. Но ответ этот слишком метафизичен, чтобы принять его без возражений. Кроме того, ему не достает социального фона. Часто кажется, что общество организовано так, будто власть является самоцелью, будто какой-то априорный метафизический императив толкает людей к власти, насилию, произволу и манипуляциям. Существует достаточно доказательств, что стремление к власти обуславливает агрессивность, унаследованную нами от животных. О'Брайену такое объяснение подходит; он сам метафизик и наслаждается мистериями.

Но здесь что-то не так. Например: ощущение власти, экстаз и наслаждение ею, которые О'Брайен демонстрирует и которые несколько напоминают проявления сексуальных извращений, — а это, как психоанализ уже доказал, возможно лишь на определенном уровне самосознания, рефлексии, требующей довольно сложных понятий. Как же тогда объяснить, что, кроме людей, способных к такому экстазу власти, на ней паразитируют и люди совершенно примитивные, никогда об этом экстазе не слыхавшие? Тоталитарная власть основана не на солидарности верхушки, а прежде всего на преданности массы мелких людшек — лакеев и надзирателей, дворников, работников отделов кадров, полицейских и камердинеров, стукачей, которые обо всех что-нибудь да знают. Это та спайка, которая обеспечивает прочность власти. Если бы власть держалась на сладострастном экстазе, бесстыдно демонстрирующемся на манифестациях и заседаниях в мраморных дворцах, она долго бы не продержалась. Власть разложилась бы мгновенно, если бы десятки тысяч

рядовых стражей не имели другого повода к преданности, чем возможность наблюдать эти спектакли.

О'Брайен лжет, и он отлично знает, что он лжет. Орвелл ему тоже не верит, потому что позволяет Уинстону возразить против пророчества вечной власти необычайно правдивыми и простыми словами:

— Как можете вы говорить о власти над материальным миром! Да ведь вы не в силах справиться даже с климатом или с законом тяготения! А помимо них существуют еще боль, болезни, смерть...*

Поучения О'Брайена — безумны, и он пользуется извращенной логикой. Уинстон, от которого плохо пахнет, в своей аргументации сильнее, потому что он говорит о человеке, о том, что ближе к правде, чем метафизика власти О'Брайена:

— Что-то должно будет сокрушить вас. Жизнь вас сокрушит.**

Полемика в застенке имеет вовсе не академический характер, это — борьба за жизнь. Для Уинстона важен смысл его последних дней, но и О'Брайен боится, потому что, если Уинстон прав, мир О'Брайена распадется.

Важность этой дискуссии я оценил уже при первом чтении. С тех пор все, что осталось без ответа, сидит во мне как заноза. С тех пор я, как Уинстон, задаю свое, лишь немного модифицированное ЗАЧЕМ? В отличие от Орвелла, в моем распоряжении не только продуманное спекулятивное рассуждение.

За тридцать лет жизни в имитации общества Океании у меня было достаточно возможностей наблюдать процессы, сотрясавшие эту систему, и те невидимые, действовавшие под поверхностью. За годы после смерти Орвелла многое выяснилось. Счастье, справедливость и равенство, священные цели великой революции, оказались где-то вдалеке, они отделились больше,

* Указанное издание, стр. 264.

** Указанное издание, стр. 269

чем когда-либо. Никто уже всерьез не пытается взывать к счастливому будущему, которое было бы пластырем на ранах, нанесенных несправедливостями и гибелью людей. Сегодня на вопрос „зачем?“ можно ответить довольно просто.

Главной целью властью и главной причиной, почему люди так стремятся к ней, не является ее „проетая сущность“, „власть в себе“. Главной причиной этих стремлений являются плоды власти — золотые яйца, которые она несет; благополучие и роскошь, которые О'Брайен так презирает; преимущества и привилегии, которые так согревают сердце, потому что у других их нет, потому что они утверждают неравенство. Тайна власти банальна. О ней даже неловко говорить. Ведь так всегда было — возлежание римских патрициев, пирушки военной аристократии, полные желудки епископов, набитые перины горожан и золотые крапы в ваннах комнатах Вандербильдтов. Все это повторяется. Но я не могу дать более полного ответа, потому что я видел лишь то, что видел.

Уинстон тоже видел это, но ему было неудобно подозревать всю мистическую систему в том, что она основана на низких побуждениях. Когда он был на квартире О'Брайена, мотивы власти обозначились совершенно явно:

Они стояли в мягко освещенной комнате, имевшей форму удлиненного прямоугольника. Пол устилали роскошные синие ковры, по которым нога скользила, как по бархату. Телескрин был приглушен до едва слышного шопота...

...Только в самых редких случаях простому смертному удавалось повидать жилище члена Внутренней Партии или даже проникнуть в те районы города, где находятся эти жилница...

...их богатство и размах во всем, непривычный запах хорошей пищи и хорошего табака, скользкие с неправдоподобной скоростью бесшумные лифты, снующие повсюду слуги в белых ливреях...

...стены, облицованные панелью, и кремовые обои — все сверкало утонченной чистотой.*

И сколько всего еще было у О'Брайена! Уинстон здесь впервые пил вино, курил сигареты из серебряного портсигара, толстые и в необычайно тонкой бумаге... Уинстон, ослепленный рассуждениями о свободе, о прошлом, о правде, не подумал, что именно это могло быть мотивировкой стремления к власти, а не сотворение из этой власти кумира. Мотивировка стремления к власти очень часто низка, она связана с простой человеческой зависимостью от пищи, одежды, крыши над головой. Я говорю это Уинстону столь резко, потому что злуюсь сам на себя, что я, как и он, блуждал и искал метафизические уловки и не видел того, что было налицо. Мне тоже было стыдно принять такое объяснение деградации жизни целой нации, уничтожения ее культуры и нравственности. Мне было стыдно, и это мешало мне понять примитивную причину, по которой образованные люди, академики и лауреаты всевозможных премий служили лжи. Мне было стыдно, потому что я как бы подсматривал их некрасивую наготу.

Орвелл здесь тоже не очень подчеркивает этот мотив, хотя в „Ферме Энимал“* он уже показал, как свиньи всю пользу зовались своим новым положением, и только дурак Боксер работал на совесть — и подох. В социологических, философских и исторических работах иные объяснения стремления к власти выглядят более по-ученому, нежели эти самые примитивные. Может быть, где-нибудь в мире пути к власти идут через фанатизм и веру, но можно быть уверенным, что и там все это испарится и на смену вере придет любовь к золоту, а на смену фанатизму — увлечение дорогими автомобилями.

Мне грустно, потому что я вложил персты в рану. У нас в Чехословакии все стало очевидным уже в 1969 г. Тогда почти все поняли, что участие в исполнении власти означает привилегированную жизнь в достатке. Совсем неважно, что в реальном социализме это часто лишь мелочи по сравнению с уровнем жизни людей в развитых государствах. Символический характер даже повышает цену таких привилегий. Для чехов и словаков метафизическая болтовня О'Брайена смехотворна. Мы бы сра-

* Дж. Орвелл „Ферма Энимал“, Изд. „Проблемы Восточной Европы“, Нью-Йорк 1986 г.

* Указанное издание, стр. 165—166.

зу обратили внимание на то, в каком доме О'Брайен живет, какая у него дача, на какой он ездит машине, как он позаботился о своих детях, какая у него любовница, куда он ездит летом в отпуск и в какой больнице он сбивает давление.

Я не буду больше заниматься этими низменными делами, потому что это несколько неудобно, особенно в связи с книгой столь ценной, как „1984”. Примеров приводить нет необходимости, в нашей Океании все известно. Знают это и русские, и поляки, знаем это и мы в Чехословакии. Это знают все в странах еврозоны и, наверное, во всех тех странах, где политическая власть настолько строга, что никому не дозволено спрашивать, сколько зарабатывает министр. Если бы у Уинстона была возможность посидеть с моими согражданами в кабачке, вопрос „зачем?” перестал бы его так мучить. Он услышал бы о просторных особняках, о коврах, мягких, как бархат, о шубах дам, об охотничьих замках в темном лесу, о дорогих спиртных напитках, привозимых из враждебных стран, о хрустальных люстрах, специальных санаториях и магазинах, куда привозят товары тоже из враждебных стран; одним словом, он узнал бы столько, что мог бы посмеяться над О'Брайеном. Но от пули бы он, конечно, не ушел.

Как это ни грустно, я все же считаю, что этот не очень возвышенный ответ все же возбуждает больше надежд, чем объяснение О'Брайена. Власть, основанную на низменных мотивах, жизнь преодолеть легче. Ее причины не будут существовать вечно. Они, как и все в социальной области, имеют временный характер. Материальный стимул власти порождает потребности, которые нынешняя система управления обществом уже не может обеспечить. Уинстон был прав, когда говорил, что „страх, ненависть и истязательство людей не могут составлять основу цивилизации”, по той простой причине, что свобода является обязательным условием материального развития, придающего смысл власти. Чтобы властители могли чему-то радоваться, кто-то должен придумать и изготовить их игрушки. В атмосфере страха, жестокости и ненависти работа не ладится, наступает всеобщее обнищание. Сначала ухудшается жизнь подданных, а потом и опорных слоев власти. Властителям приходится с грустью признать, что свободный рабочий производит ботинки

лучшего качества, чем обманываемый прол, и что свободный инженер способен придумать лучшие изобретения, чем инженер напуганный.

Наш товарищ Уинстон Смит кончил плохо, но он узнал все, что хотел узнать. У меня за плечами десятилетия подобных изысканий. Если бы мне пришлось сказать, быстро и не обдумывая, что в этих изысканиях было самым важным, что я открыл в защиту человеческого достоинства и общественного мира, я процитировал бы из дневника Уинстона:

*Свобода есть свобода, как два и два — четыре. Если это принять, — все остальное следует.**

Тут важнее вторая часть. Не так уж ясно, что два плюс два равны четырем, но нужно иметь возможность сказать это, все остальное следует. Трудно себе даже представить, сколько всего остального следует из этого права. Одним словом, что-то должно быть самым важным, из чего следует все остальное. Орвелл сформулировал это, как мало кто до него, потому что он показал, как нам придется жить, если до определенного срока мы не добьемся разрешения говорить, что два и два — четыре.

Ну, а до 1984 года времени уже мало.

1981—1983 гг. с перерывом в один год и три недели.

* Указанное издание, стр. 81.